

Между «разно» и «инако»: российские вольнодумцы на перепутьях истории

Разномыслие в СССР и России (1945 – 2008): Сборник материалов научной конференции, 15–16 мая 2009 года, Европейский университет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербурге/ Под общ. ред. Б.М. Фирсова. – СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2010. – 366 с.

Три года назад, в 2008-м, в том же издательстве вышла книга известного российского социолога Бориса Фирсова «Разномыслие в СССР. 1940 – 1960-е годы: История, теория и практики»*. На ее презентации в питерском Европейском университете развернулась такая дискуссия, что участникам стало ясно: меньше, чем конференцией, тут не обойтись. Такая конференция действительно собралась в университете год спустя. Ее материалы – почти все – изданы теперь отдельной книгой.

Конференция оказалась целиком посвящена освоению нового социологического понятия – «разномыслие». Само слово в русском языке было, разумеется, давно – Андрей Синявский, помнится, употреблял его примерно в том же смысле – социальном и политическом – еще больше двадцати лет назад. Но Фирсов предложил для «разномыслия» именно статус понятия, научного инструмента – по сути дела, впервые.

В том, что между «разно-» и «инакомыслием» вообще существует какая-то граница, оказались согласны далеко не все участники конференции. Между тем смысл в ее проведе-

нии, похоже, есть – хотя бы уже потому, что понятие «разномыслия» – существенно более широкое.

«Инакомыслие» – это отчетливое, категоричное противопоставление своего видения мира доминирующим дискурсам. От «разномыслия» до него еще требуется дойти. Остроумное и очень ясное различие между ними на конференции заметил историк и антрополог Сергей Штырков (его выступление тоже вошло в сборник): оно уже существует в православном сообществе. Разномыслие там – это «разброс мнений в пределах допустимого», то есть варианты канона. А вот выход за пределы канона – уже ересь, она же, в миру, инакомыслие.

Так вот, если на выход за пределы советского канона отваживались не так уж многие, то разброса мнений в его пределах было – как показывают участники конференции – сколько угодно. Гораздо больше, чем казалось тогда – и даже чем думают сейчас. Именно оно, – а отнюдь не только инакомыслие как частный и крайний его случай, – и помогло, считает Фирсов, «разрушить броню принудительного единодушия, в которую страна и народ были закованы репрессивным сталинским режимом».

Вообще, одна из самых симпатичных черт в этой книге – та, что в ней можно видеть, как идеологию сменяет понимание, как на смену упрощающему мифу о тотальном единодушии советского общества приходит новое его видение – заметно более реалистичное и детальное. Как выясняется при рассмотрении пристальном и беспристрастном, понятие «тоталитаризма», без которого в последние десятилетия вряд ли мыслим разговор о советском обществе, – обнаруживает гораздо больше черт идеологемы, чем стоило бы.

* Фирсов Б.М. Разномыслие в СССР. 1940 – 1960-е годы: История, теория и практики. – СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге; Европейский Дом, 2008.

Был ли вообще, задается неожиданным вопросом Николай Копосов, в советской истории «сколь-нибудь продолжительный период, который мог бы быть назван периодом тоталитаризма»? В этом отношении, отметил он, мыслям отечественных историков последних лет свойственны большие крайности: если «в какой-то момент мы стали с увлечением описывать советское общество в этих терминах», то потом, наоборот, «усомнились в правомерности модели тоталитаризма в целом». Докладчики на конференции тоже не избежали крайностей этого рода. С одной стороны, говорилось о том, что в СССР всегда были люди, мыслящие самостоятельно и независимые от идеологии, с другой — что степень влияния идеологии и, следовательно, «тоталитарности» была чрезвычайно высока. К общему знаменателю в этом отношении так и не пришли.

Все это, заметим, — совершенно независимо от того, что в необходимости «разномыслия» как особого понятия действительно высказывались сомнения.

Разные способы мыслить и действовать, уверяли некоторые участники конференции (например, Олег Паченков), были во всех обществах от сотворения мира, это настолько очевидно, что понятие здесь делать не из чего. Конечно, ростки иного были всегда, соглашаются другие, но тут же и возражают: в каждую эпоху их существование было совершенно различным и по условиям, и по результатам, и поэтому о советском разномыслии необходимо говорить особо.

Петербургский социолог Виктор Воронков вообще представляет радикальную точку зрения. Он утверждает, что у нас в отечестве «разномыслие» — как общественное явление — началось только после XX съезда КПСС, когда в знаменитом докладе Хрущева был публично осужден культ Сталина. Более того, полагает он, советское «разномыслие» ничуть не расшатывало режим, как хочется думать, — напротив, оно его только укрепляло, позволяя гражданам выпустить пар в рамках канона, тем более, что между двумя сфе-

рами высказываний — официальной и впервые появившейся после XX съезда «публично-приватной» — всегда была очень жесткая граница.

Некоторые же обращают внимание на то, что на самом деле картина еще при Сталине была куда более дифференцированной, чем может показаться. В этом смысле весьма интересен представленный Арленом Блюмом анализ настроений ленинградцев в связи с началом Второй мировой войны (о них, к радости будущих историков, прилежно сообщали своим работодателям осведомители НКВД). Автор, долгое время уверенный в том, что уж в конце-то 1930-х (да, этот доклад несколько выходит за заявленные хронологические рамки книги, но это ничего не портит) среди советских людей царило самое безнадежное единомыслие, с изумлением нашел, что это вовсе не так. Из обнаруженных в архивах донесений агентуры НКВД по Ленинграду и области явствует: даже в самое страшное время, после гигантской волны репрессий 1936–1938 годов, очень многие — притом не только интеллигенты, но и так называемые «простые» люди — были совершенно бесстрашны в разговорах и совсем не торопились радостно одобрять вторжение в Польшу и пакт Молотова — Риббентропа.

По мнению Андрея Алексева, «разномыслие» («ментальный плюрализм», «неоднородность общественного или группового сознания») вообще — характерная черта гражданского, то есть развивающегося, — общества в отличие от тоталитарного, оно же стагнирующее (поэтому, надо думать, к советскому обществу, которое гражданским никогда не было, этот термин если и применим, то с очень большими оговорками).

А вот Олег Паченков, напротив, полагает, что разномыслие как раз закончилось в эпоху перестройки, то есть вместе с тоталитарным советским обществом. А именно — тогда, когда «множественность способов мышления и точек зрения стала в обществе доминирующим принципом» и «основным модусом общественного бытия». Поэтому и соответствующее по-

нятие немедленно утратило «познавательный потенциал», стало «тавтологичным и пустым», и применительно к постсоветской России о разномыслии говорить нечего.

Тем не менее многие отваживаются. Книгу вообще очень обогащает то, что предметом научного анализа здесь наконец-то делаются и постсоветские социальные процессы. О разномыслии после краха СССР как о новой теме социологии XXI века говорят и создатель понятия Борис Фирсов, и философ из Великобритании Мэри Маколи, и наша соотечественница из Италии Евгения Лёзина.

Так вот последняя как раз обращает внимание на то, что в новой России — той самой, в которой разномыслие стало якобы доминирующей характеристикой общественной жизни, — его мощный, разрушительно-созидательный потенциал, которым оно несомненно обладало в позднесоветское время, оказался, как ни удивительно — утрачен.

Это новое разномыслие Лёзина прямо называет «недомысленным». При всех разностях в нем отчетливо недостает по меньшей мере общего стержня. Главное, недостает здесь самого чувства острой ценности собственной позиции, выработки и выражения собственного мнения, которое в советское время, однако, было.

«Ярким свидетельством нерелевантности диссидентских идей и подходов в современном российском обществе, — пишет она, — служит чрезвычайно низкий уровень значимости плюралистических ценностей в общественном сознании. Такие права, как «свобода слова», «право на получение информации», «право избирать своих представителей во власть», традиционно занимают самые низкие позиции в ценностной иерархии российских граждан. Отсюда общественное равнодушие к процессу монополизации и ликвидации независимости СМИ, постепенному устранению состязательной системы парламентского представительства (ярким выражением которого стала знаменитая формула спикера Государственной Думы Б.В. Грызлова «Парламент —

не место для дискуссий!») и другим процессам, которые создают ситуацию отсутствия в обществе структур «публичности», позволяющих артикулировать интересы различных общественных групп, рационализировать происходящие события, вырабатывать общественные смыслы». Лёзина даже находит возможным утверждать, что «в прежние эпохи» (значит — и в тоталитарную советскую? и в какие-нибудь 1930-е?) «потенциал разномыслия» «был несравнимо значительнее» (!), чем сегодня.

Как же так могло получиться? Почему постсоветское развитие до сих пор, хотя прошло уже два десятилетия, не привело к формированию новой, отчетливой системы ценностей, которые давали бы надежную общую основу социальной жизни (и, спешу заметить, — новому, плодотворному и конструктивному разномыслию)? Над этим все еще предстоит как следует задуматься не только специалистам, — которые, кстати, пока не готовы предложить сколько-нибудь окончательные ответы, — но и каждому из нас.

Во всяком случае, читатель получает в книге редкую возможность наблюдать свежерожденное понятие в становлении. Мы можем рассмотреть, как оно (и вместе с ним — возникшие в ходе дискуссий понятия-спутники: «разнодействие» и «инакодействие») нащупывает свои границы, осваивает собственные возможности. Это тем интереснее, что возможности его опробуются здесь на материале последних десятилетий, который освоен публицистическим мышлением пока ещё в гораздо большей степени, чем социологическим и историческим.

Для тех же читателей, кого почему-то не очень трогают увлекательные судьбы понятия, в сборнике много живого человеческого материала, интересного и «дотеоретически». Прежде всего — в работе Елены Здравомысловой о легендарном ленинградском кафе «Сайгон», о разнообразии его завсегдатаев, их типов и обыкновений и об особом культурном статусе в 1970-е пьянства как неперменной части «карнавального перформанса» и одной из «практик освобождения».